

К Р О К О Д И Л

К 556/39г.



17 СЕНТЯБРЯ 1939 ГОДА
началась подготовка к октябрьским
праздникам в Западной Белоруссии
и Западной Украине.

Рис. Л. Бродаты

Тридцать девятый

Никто, полагаю, со мной не заспорит,
Что через столетия наступит пора,
Когда молодой и горячий историк
Начнет посвящать нам свои вечера.

И с ним возрождать его сверстники станут,
На главы дела наше время и строй,
Октябрьские залпы — для первого грянут,
Пойдет против Врангеля с нами — второй.

За годами — годы, за датами — дата,
Очертят они нашу поступь и стать,
Названья, понятные детям когда-то,
Заставят их долго в архивах искать,

Они нас изучат, как мы изучали
Ледовую битву, двенадцатый год,
А этот (что мной упомянут вначале)
До двадцать второй годовщины дойдет.

Он станет ночами шагать до рассвета
По нашим суровым и солнечным дням,
Он ветхие перелистает газеты
(Что будут лишь завтра доставлены нам).

Как мы воскрешаем сегодня Афины,
Исследуя древнюю роспись и храм,
Он будет исследовать старые фильмы
(Что выпустят завтра для нас на экран).

Он взвесит детали. Он вскрыет причины.
И, сотни источников сверивши, он
Своей аудитории в день годовщины
Раскроет великую книгу времен.

Улыбчивым старцам, серьезным ребятам,
Мужчинам и женщинам юной земли
Он скажет:

— Товарищи! В тридцать девятом
Над миром коварные бури ввели.

Снаряды вадымались гряда на гряде,
В морях становилась кровавой вода,
Созвездья дрожали от гула орудий,
А люди — от гнева, обиды, стыда!

Казалось, что небо само раскололось
На жаркие клочья воздушных боев,
И вдруг...

Я волнуюсь, товарищи...

Голос

Спокойный и мудрый покрыл этот рев.

Сквозь дым и пожары огня боевого,
Сквозь клетот и ливень свинцовых дождей
Советский Союз произнес свое слово
По воле правдивейшего из людей:

«Носители старых, звериных законов!
От масс вы не скроете вашу вину.
Сто семьдесят — взвесьте число! — миллионов
Позором клеймят мировую войну!

Мы жизни трудящихся не искалечим,
Мы разума знамя над миром взовьем,
Мы в бойню не вступим! Мы мир обеспечим
И всех безумных с собою зовем!»

И вот, повторяя заветное имя,
Взглянув ослепительной правде в лицо,
Народы Союза в союзе с другими
Сомкнулись для мира в стальное кольцо.

По карте на платине (той, что хранится
В хрустальном дворце Института борьбы)
Мы видим, что ширятся мирно границы,
Что спины свои разогнули рабы,

Что дружно линкоры приветствует Таллин,
Что Вильну Литве возвращает Союз.
И пишут в волнении «Да здравствует Сталин!»
Украинец западный и белорусс.

И нам это время великое свято,
Как нынешней жизни цветущий восход.
Запомним, товарищи, тридцать девятый,
Дорогу векам пролагающий год!

Он сделает паузу.

И в воздухе прямо,
Как будто воздушной волной рождено
Без шума малейшего и без экрана
Внезапно гигантской вспыхнет кино.

(Такого сейчас еще нету на свете,
Но жить без фантазии, право, нельзя ж!)
И люди увидят — в объеме и цвете
Сегодняшних дней развернется пейзаж.

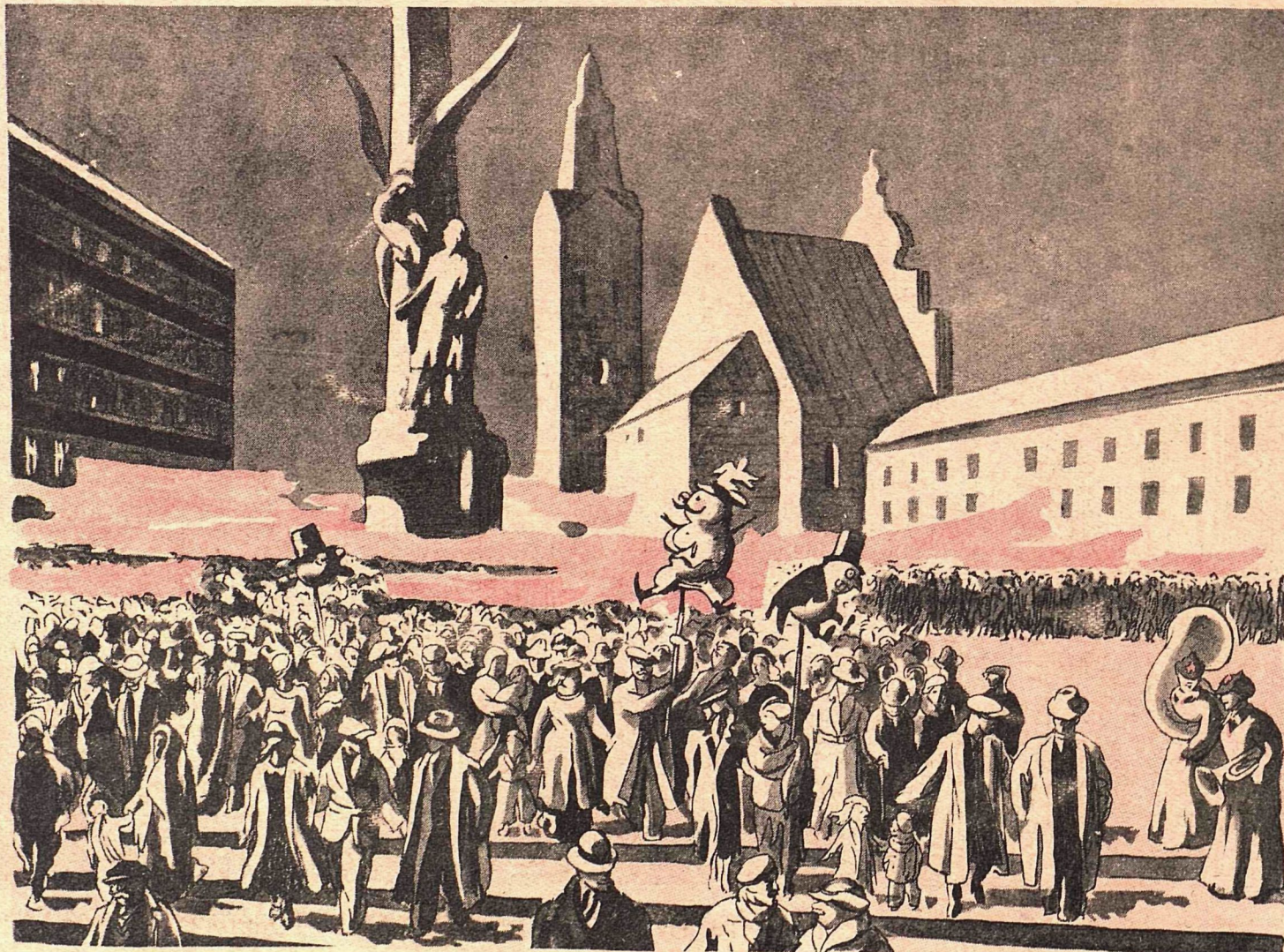
Увидят великое зарево счастья,
Заводы, театры, каналы, сады,
Веселые красноармейские части,
Которых встречает не штык, а цветы,

Бурлящую юность, колхозные жатвы,
Над мирными кровлями ласковый дым —
Итог потрясающей сталинской клятвы,
До буквы последней исполненной им!

НИКОЛАЙ АДУЕВ

Рис. Б. Пророкова

ВО ЛЬВОВЕ



КРАСНОАРМЕЙЦЫ: — Нашего полку прибыло.



ПОЛЬСКОЕ „ПРАВИТЕЛЬСТВО“ (снимая комнаты): — Опять с коридором!.. Ни за что на свете!



Рис. И. Семенова

Осенний листопад в Европе.

Михаил Степанов

Михаил Степанов — это
 (Говорит о нем газета)
 Токарь — будь здоров!
 Парень много обещает,
 Парень даже посещает
 Школу мастеров.
 Изобрел приспособление
 Для нарезки и сверления —
 Все в его руках!
 И за смену хладнокровно
 Тыщу сто процентов — ровно —
 Дал на трех станках!
 «Дело сделано без шума», —
 Как сказал партком.
 «Это вам не фунт изюму!» —
 Заключил завком.
 Михаил в ответном слове
 Покраснел, нахмурил брови.
 После этих дел
 Заявил:
 «Мои успехи — это не предел».
 Так районная газета

Напечатала про это.
 Но хочу и я
 Рассказать о Михаиле,
 Мы же вместе ели, пили,
 Мы же с ним друзья!
 В общежитии завода
 Он живет четыре года —
 Парень-холостяк.
 Если прачка захворает,
 Сам рубашку постирает:
 «Это нам пустяк!»
 Выйдет вечером до клуба
 Да как глянет из-под чуба:
 Дайте, мол, спляшу!
 И на целых три минуты
 По паркету фу-ты, ну-ты!..
 Девушки — «шу-шу!»...
 Засмешит, захороводит,
 К дому девушку проводит:
 Страшно ведь одной...
 Не откладывая, значит,
 Встречу новую назначит

Ей под выходной.
 Или вдруг письмо получит:
 Папа с мамой пишут, учат,
 Прямо говоря:
 «Мол, в столице жизнь — не шутка,
 Береги себя, Мишутка,
 Да не траться зря!»
 Добавляют в той же прозе,
 Что работают в колхозе,
 Дома не лежат...
 Михаил в ответ на это
 Посылает два привета,
 Ситцу и денюжат...
 И опять живет не тужит,
 Сам себе штаны утюжит:
 Так оно скорей...
 И его приспособления
 Словно редкие явления
 Вызывают удивленья
 наших токарей!

СЕРГЕЙ СМЕРНОВ

Расширенное гостеприимство

САМЫЙ КОРОТКИЙ ДОКЛАД

Рис. М. Храпковского.

ИНИЦИАТИВНАЯ «тройка» по организации праздничной вечеринки «на паях» состояла из Зайчикова, Петрушенко и Кулькова. Зайчиков представлял и защищал интересы одиннадцати своих знакомых, Петрушенко — девяти и Кульков — восьми.

Когда было утверждено меню и установлен пай (двадцать пять рублей с человека), стали обсуждать вопрос: «У кого?» После долгих споров было решено вечеринку «провернуть» на квартире у Михайловских.

За это говорило все: и комната у Михайловских большая, и соседи непридирчивые, и посуды много, и кухня удобная, и домработница не «приходящая», и патефон, и телефон, — словом, лучше не придумать.

Правда, одно обстоятельство говорило против — это вход в квартиру Михайловских. У них в доме меняли какие-то подземные трубы и весь двор был взрыт, разрыт и перерыт. Поэтому проходить к ним нужно было так: с улицы войти в парадную, через бывшую швейцарскую, из этой парадной выйти во двор по деревянным мосткам, потом пройти в самый угол двора, подняться по лестнице на третий этаж, через коридор выйти на другую лестницу, спуститься по ней, выйти опять во двор — но только в другом углу, — перепрыгнуть через яму, спуститься в подвал и из подвала уже выйти на ту лестницу, на шестой этаж которой выходила дверь черного хода квартиры Михайловских.

«Тройку» это вовсе не смущало, так как и Зайчиков, и Петрушенко, и Кульков не раз посещали Михайловских и были хорошо знакомы с этим лабиринто-катакомбовым «кроссом». Что же касается «пайщиков», то решили каждому в отдельности подробно разъяснить, как преодолеть все препятствия и не заблудиться в этих «дебрях» незаконченного ремонта.

Михайловские с радостью согласились предоставить свою комнату, посуду, кухню, патефон, телефон и домработницу, ввиду чего и были освобождены от внесения пая.

За три дня до вечеринки «тройка» вручила Михайловским собранные паевые взносы, каковые и были полностью освоены — согласно установленному меню — с перерасходом в 87 рублей. Перерасход был покрыт честью «освобожденных от пая» Михайловских.

Хотя съезд гостей был назначен на десять часов вечера, уже с начала девятого «два продолжительных» звонка (сигнал, означающий, что пришли к Михайловским) перешли на непрерывный звон.

С праздником! — любезно говорил Михайловский, встречая гостей в передней и помогая им раздеваться. — Сразу нашли?

— Немножко плутали, но, как видите, добрались... — отвечали гости и, потирая руки, поправляя прически, проходили в комнату.

В половине двенадцатого в комнате Михайловских находились все 28 пайщиков, но — странное дело — «два продолжительных» не умолкали. Прибывали все новые и новые гости.

— Товарищи! Тут какая-то неувязка, — взволнованно сказал Михайловский, вызвав на кухню инициативную «тройку». — Пайщиков собралось значительно больше, чем было внесено паяв.

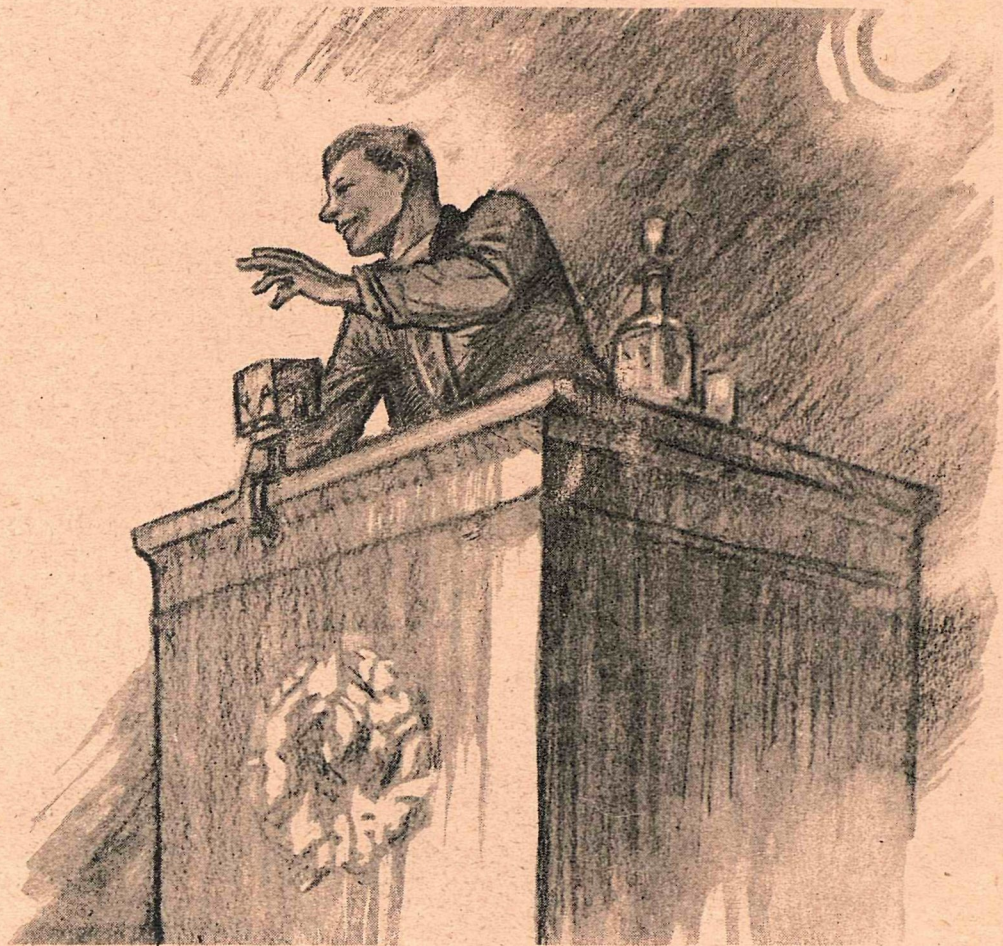
— А вы от себя никого не приглашали? — спросил Кульков, пристально глядя на не нарезанного еще гуся, который лежал посредине большой сковороды, окруженный тушеной капустой.

— Я-то никого не приглашал. А вот вы явно перевыполнили норму приглашения! — сердито ответил Михайловский.

— Не знаю. У меня все по плану, — пожал плечами Зайчиков. — Внес за одиннадцать и пригласил одиннадцать.

— И у меня, — заторопился Петрушенко, — девять паяв — девять гостей. Как одна копейка.

— А вы своих гостей в лицо знаете? — спросил Михайловский.



— Разрешите, товарищи, начать с того, что мы кончили программу 1939 года, и кончить тем, что мы начали программу 1940 года.

— Откуда я могу их знать? — ответил Кульков, ласково приподнимая гуся за ножку. — Четыре пая внес Захарчук, да два — Ковальчук, а потом оба передумали, а свои пай кому-то переуступили. Из моей восьмерки я только свою жену знаю в лицо.

— У меня то же самое, — добавил Зайчиков. — Записывались одни, деньги вносили другие, а пришли третьи. Теперь в этой паевой путанице никак не разобраться.

— Может быть, переключку сделать? — предложил Михайловский. — Так, мол, и так. Просьба к товарищам-гостям откликаться не на свои фамилии, а на фамилии паяв.

— Неудобно! — запротестовал Петрушенко. — Это ж вечеринка, а не очередь за билетами на «Анну Каренину», где переключки делают. И во-вторых, что переключка даст? Откуда мы своих узнаем, когда количество гостей вышло из трафика.

— Товарищи! — вскричала прибежавшая в кухню Михайловская. — Что ж это делается? Внесли за 28, а пришло 60! Не хватит ни еды, ни шампанского, ни пластинок!

— Предлагаю впредь до выяснения выдавать по полпорции, — быстро отозвался Зайчиков.

— А если еще подойдут? Это и по полпорции не хватит... Как же быть?!

— М-м-м... мы, значит, вот что... — Михайловский, не окончив, обернулся к жене и сказал: — Валечка, ты бы вышла к гостям. Все-таки неудобно: они там без хозяйки.

— Какая я хозяйка! — сердито отозвалась Михайловская. — Ни я никого не знаю, ни меня — никто... Сейчас какая-то гражданка спрашивает у меня: «Не скажете ли вы мне, кто здесь живет?.. Безкусные обои, эти статуэтки, диван...» Дрянь такая! А мне это какво?..

— Надо было ее попросить уйти! Вот и все.

— Да! Попросишь тут... Я сама еле вырвалась к вам на кухню. Вся комната забита гостями. Ты поди, полюбуйся!..

Михайловский пошел. Действительно, комната напоминала автобус в часы «пик» под вы-

ходной день. Гости сидели и стояли в таких местах и в таких позах, которым позавидовал бы циркач-эквилибрист. Танцевали в коридоре. В ванной организовался хор. Какой-то шутник залез на люстру и оттуда кричал своим друзьям в разные концы комнаты.

В половине первого на помощь Михайловским пришли соседи, и часть гостей была переброшена на жилплощадь соседей. В час ночи гости с бою взяли кухню. В начале второго танцевали еще и на площадках парадной и черной лестниц.

Несколько раз обалделый Михайловский пытался созвать инициативную «тройку» для принятия каких-нибудь контрмер, но в этой гуще не мог найти ни одной трети «тройки». Изредка он еще сталкивался со своей женой. Наконец, и эти встречи прекратились. Тогда, махнув на все рукой, он с трудом дорвался до зеркала шкафа и, взгромоздившись на него, с высоты наблюдал за происходящим внизу весельем, которое несмотря на явную перегрузку, тесноту и давку было необычайным и продолжалось до самого утра.

Утром, когда гости, любезно поблагодарив и распрощавшись, ушли, Михайловский отправился подышать воздухом.

«Как же все это получилось?.. Кто их нагнал? — думал он, прохаживаясь взад-вперед по улице перед своим домом. — Кто в этом виноват?»

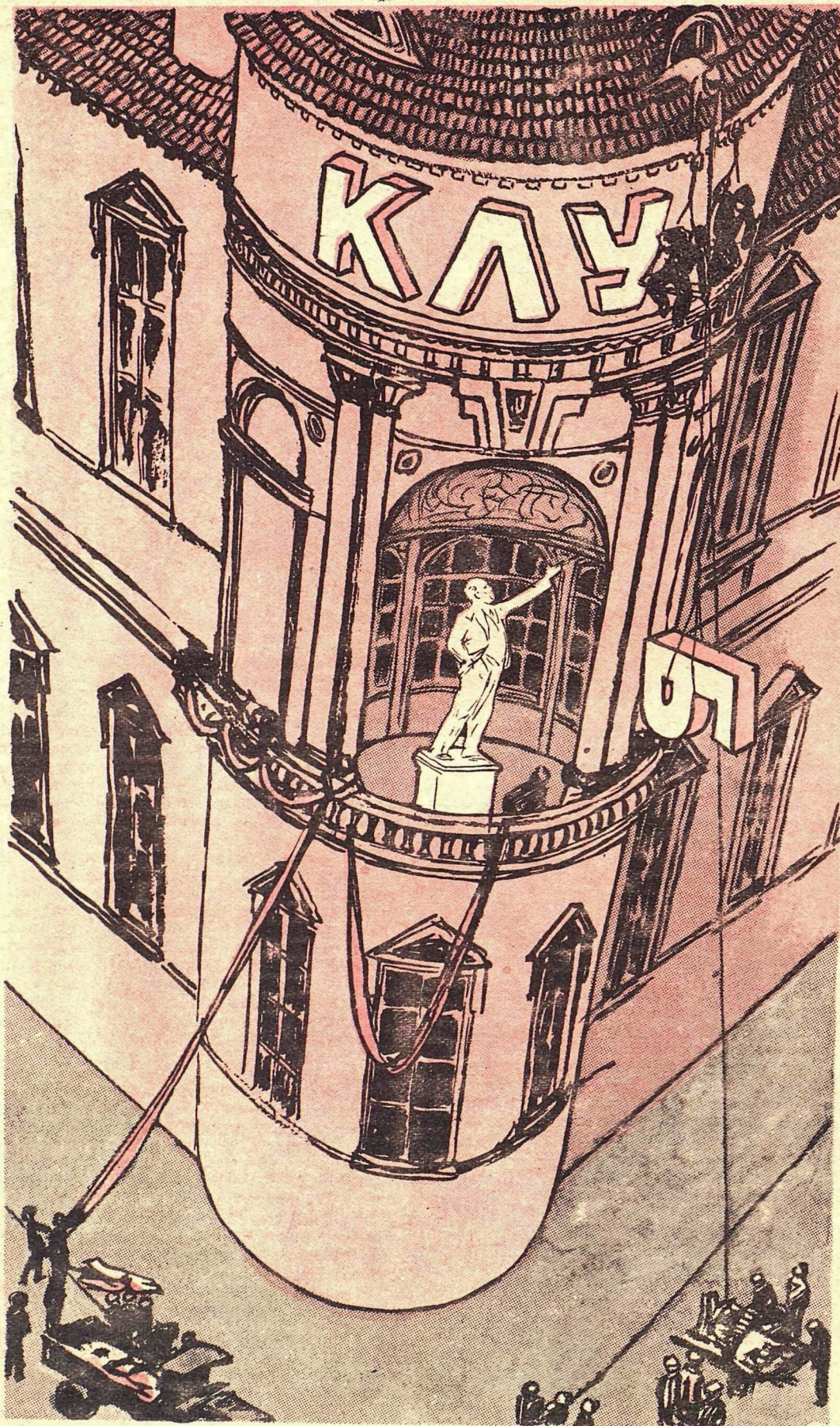
И вдруг Михайловский увидел у своей парадной большой плакат:

ВЕЧЕРИНКА ЗДЕСЬ!
в квартире № 17а.
Милости просим, дорогие товарищи!
ЖДЕМ!
Идти надо так: 1) войти в под'езд № 3; 2) пройти через бывшую швейцарскую и т. д.

Этот плакат с вечера был повешен им самим.

Я. РУДИН

Рис. К. Елисева



Праздничное оформление.

Поездка за границу

МАРТЫН Пуца давно мечтал побывать за границей.

— Брось, Мартын, свою думку,— говорили ему деревенские ребята.— Это — не мыслимое дело.

— Мыслимое! — упорно твердил Мартын.— Над ним смеялись. А потом смеяться перестали.

Мечта Мартына Пуцы сбылась. Он оседлал буланого коня и рысцой поехал за границу. Вернулся он домой через три дня.

Окружили его со всех сторон парни и девки и давай терзать и расспрашивать про заграничное житье-бытье:

— Что видел, что слышал?

— Сразу всего не расскажешь,— ответил Мартын.— Да и оратор, как вам известно, я неважный. Одно скажу я вам: супротив той жизни, которую я видел там, за кордоном, мы с вами находимся в жалком положении. Нам только снится может такое красивое существование. Вот все, что я могу доложить. А кто хочет подробней узнать,— задавайте вопросы, а я по мере силы-возможности отвечать буду.

— У меня вопрос,— сказала Оксинья Верба.— Скажи, там мужики в лаптях ходят?

— Что? — Мартын громко рассмеялся.— Ну и комедия с тобой, Оксинья. Лезешь ты с глупым вопросом. Ну где это видно, чтобы за границей ходили в лаптях? Там культура. Привыкла ты, что у нас еще в лаптях и опорках щеголяют мужики, так тебе кажется, что на всем свете так. Вот слушай, что я тебе скажу, Оксинья: лаптей там нема и не будет.

— А какие там песни поют? — спросила Ганка Симонович.

— Могу в точности сказать. Сумных песен, от которых в горле свербит и плакать хочется, там теперь не поют. За границей в ходу одни веселые, радостные песни. Поняла? Я две песни там выучил и смогу потом сыграть, если вы все меня очень попросите. Добрые песни! У кого еще какие вопросы к докладчику?

— Ишь ты, как Пуца замысловато говорить стал! — сказал Михась Савчинский.

Мартын гордо осмотрел собравшихся.

— Не даром я побывал за границей!.. Но ближе к делу. У кого вопросы?

— У меня,— сказал Владимир Гарб, поправляя онучи на лаптях.— Как там в смысле образования? Кто-то говорил, что там даже в деревнях имеются гимназии? Правильно ли это или только один разговор?

— Вполне правильно. Только там они называются не гимназии, а иначе. Могу к тому же добавить, что там все ребята учатся.

— А как же бедняки учатся, когда у них грошей нема, чтоб платить в школу?

— Там все учатся без грошей. За границей это называется бесплатное учение.

— А я слыхал,— вставил Кусьма Рябук,— что там и лечат без грошей.

— Присоединюсь к предыдущему оратору,— ответил Мартын Пуца.— Так оно и есть в действительности. Пора мне закругляться, товарищи, и в заключение могу сказать, что видел я за границей в деревне столько разных машин, что даже перечислить невозможно. Есть там тракторы, и есть машины, которые называются комбайнами, и есть у мужиков самоходы-автомобили.

— Вот бы так! — мечтательно прошептала Оксинья Верба.

— Вполне конкретное предложение,— резюмировал Мартын.— Теперь и у нас в Западной Белоруссии все будет, как и в Советской Белоруссии. Переезжая кордон, мой буланый вдруг споткнулся. Глянул, а это лежит в грязи полосатый столб с белым орлом. Посмеялся я и поехал дальше... Я кончил.

Г. РЫКЛИН

Возвращаясь днем с парада,
Глеб и мама шли вдоль сада.

Над травой, еще зеленой,
Нависал багрец листвы:
Были красными и клены,
И березы, и кусты.

А на доме перед садом,
С тополиной веткой рядом,
На большом прямом шесте
Флаг багряный шелестел.

Глеб, немного поразмыслив,
Вдруг спросил, смотря на сад:
«Все деревья в красных листьях
Потому,
Что был парад?»

Мама плечи повернула,
Удивилась и кивнула.
Глеб сказал, замедлив шаг:
«Значит, ветка — это флаг?»

Мать сказала: «Вовсе нет.
Так сейчас весь мир одет.
На земле во всех местах
В октябре красна листва».

Глеб ответил: «Понимаю.
Значит, флаги поднимают
Все на свете.
Значит, люди
Праздник наш повсюду любят».

Г. ПОМЕРАНЦЕВ



— В нашем городе нет ни одного исторического октябрьского места: весь город построен после Октября.

Настоящий герой

ТРИ, совершенно точно, три раза он говорил Наташе про любовь: первый раз — на стадионе «Динамо», второй — в метро, на эскалаторе, и третий раз — при прощанье.

Но как говорил?..

Каждый раз Наташа чувствовала приближение чего-то особенного, неповторимого. Вот-вот он скажет такое, от чего похолодеют руки, вспыхнут уши и перехватит дыхание. И она глядела куда-нибудь в сторону, чтобы, чего доброго, не встретиться с ним глазами, и хотела слов, которые до сих пор только читала в книгах.

И все три раза ничего не происходило. Он говорил совсем не то и не так, как хотелось Наташе. Как например он сообщил о своей любви на стадионе «Динамо»? А вот как:

— Эх, хоть и вмазали нынче ЦДКА, а я как-то даже и не болею... И знаю, почему. Потому, что вы со мной, Наташа. Я вас с самых учений не видал, соскучился. Я ведь, Наташа, все-таки вас люблю...

«Все-таки!» Конечно, может быть, это трудно — высокими словами сказать про любовь. Лучше ввести какое-нибудь маленькое словечко, чтоб не получилось паузы, которую, может быть, даже нечем заполнить... Но без этих вводных слов было бы патетичнее, волнительнее...

Ведь вот накануне ночью Наташа вся дрожала, читая строчки:

«Нет, поминутно видеть вас,
Повсюду следовать за вами,
Улыбку уст, движенья глаз
Ловить влюбленными глазами,
Внимать вам долго, понимать
Душой все ваше совершенство,
Пред вами в муках замирать,
Бледнеть и гаснуть... вот блаженство!»

Конечно, нельзя требовать, чтобы у всех выходило, как у Пушкина. И, например, рыдать на стадионе тоже незачем.

Вот, скажут, дурак-болельщик до чего себя довел...

И тогда на стадионе Наташа сделала вид, что она объяснения в любви не слышала. До того, мол, заинтересована игрой, что ничегошеньки не слышала.

Другой раз — в метро, на эскалаторе, — Наташа сказала:
— До чего тесно, просто ничего под ногами не видно.

А он ответил опять так просто-просто:
— Когда я с вами, я что-то ничего не замечаю — тесно, не тесно... Это, наверное, от того, что я вас люблю.

Опять «наверное!» А как же раньше люди без всяких «наверное» обходились:

«Я опущусь на дно морское,
Я полечу за облака,
Я дам тебе все, все земное...»

Просто дух захватывает! Правда, это не человек объяснялся, это демон лермонтовский так говорил. Но ведь и человек, если постарается, может сказать без оговорок...

В третий раз это было у Наташи дома. Он пришел прощаться. Военные никогда не говорят, куда едут.

— Уезжаю, до свиданья...
В прихожей он взял Наташу за руку и сказал:

— Если вы не забудете меня, Наташа, мы с вами очень серьезно поговорим, когда я вернусь.

И потом:
— Я о вас часто буду думать там...
Тут он обнял ее и поцеловал. Вот это было, пожалуй, действительно по-настоящему, как в хорошем романе.

До вечера Наташа ходила под впечатлением его отъезда, а вечером пришла подруга и немного ее расстроила: принесла «Анну Каренину», которую взяла в библиотеке. Наташа полистала роман и сразу натолкнулась на объяснение Вронского с Анной. Ах, как там было написано!.. Наташа перечитала три раза кряду:

«— Разве вы не знаете, что вы для меня вся жизнь... Я не могу думать о вас и о се-

бе отдельно. Вы и я для меня одно. И я не вижу впереди возможности спокойствия ни для себя, ни для вас. Я вижу возможность отчаяния, несчастья... или я вижу возможность счастья, какого счастья!.. Разве оно не возможно? — прибавил он одними губами; но она слышала».

Ну как это можно было сравнить с тем, что слышала Наташа: «мы с вами очень серьезно поговорим»...

И все-таки Наташа много думала об уехавшем, а открывая шкаф с платьями, всегда ласково глядела на то — крепдешинное с горошком, — в котором была с ним в последний раз.

А на праздник, когда у каждого счастье, Наташе досталось счастье больше всех: утром, как ей идти на демонстрацию, принесли письмо и газету. Письмо было от него. Он писал:

«Погода стоит неважная, но на душе отлично. Если бы вы могли быть с нами, Наташа, и видеть, как радуются освобожденные Красной Армией люди — наши братья! Сегодня я летал над возрожденным краем, поднялся высоко, за облака, и я думал о вас, Наташа. Мне хочется поминутно видеть вас. Может быть, скоро это осуществится...»

Это уж была голая классика. Нет, положительно он писал гораздо лучше, чем говорил!

А подруга, развернув газету, закричала:
— Наташка! Ты счастливица! Смотри, он, оказывается, герой, вот же его портрет на самой первой странице...

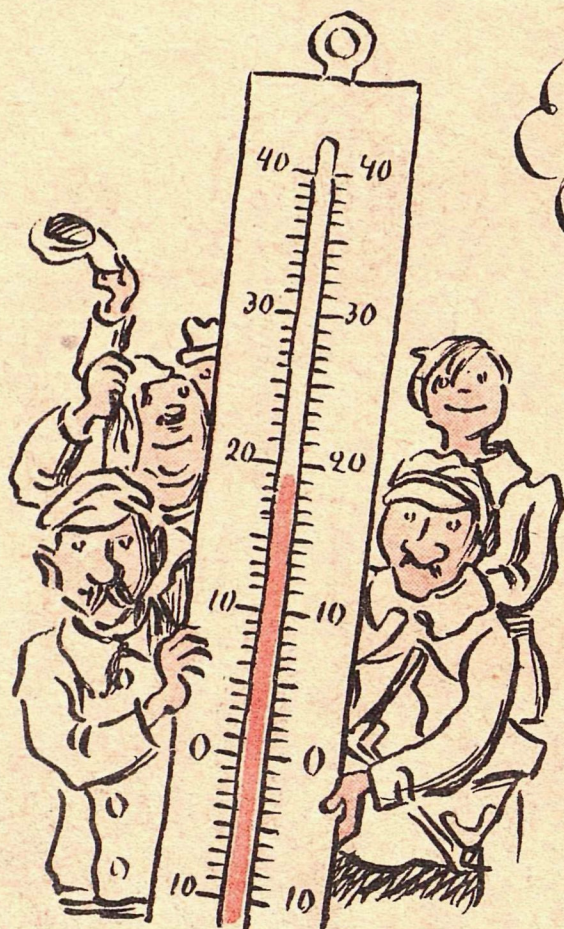
— Я так и знала, — спокойно сказала Наташа и поскорее положила письмо на стол, потому что оно дрожало в руке.

А про себя Наташа подумала, что он никак не хуже тех — классических типов. Пусть даже изъясняется немного хуже их. Зато он настоящий герой, а те все — книжные. Чего бы все они стоили без помощи Пушкина, Лермонтова или Толстого?..

В. КАРБОВСКАЯ

Желательные

(Проект оформления)



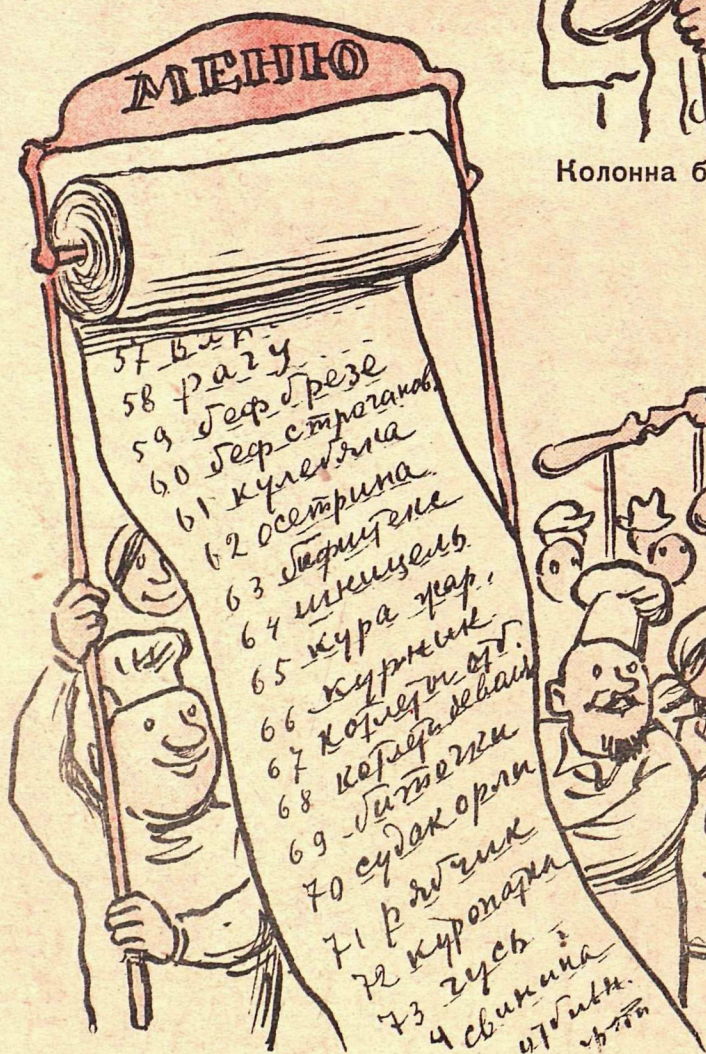
Колонна управдомов.



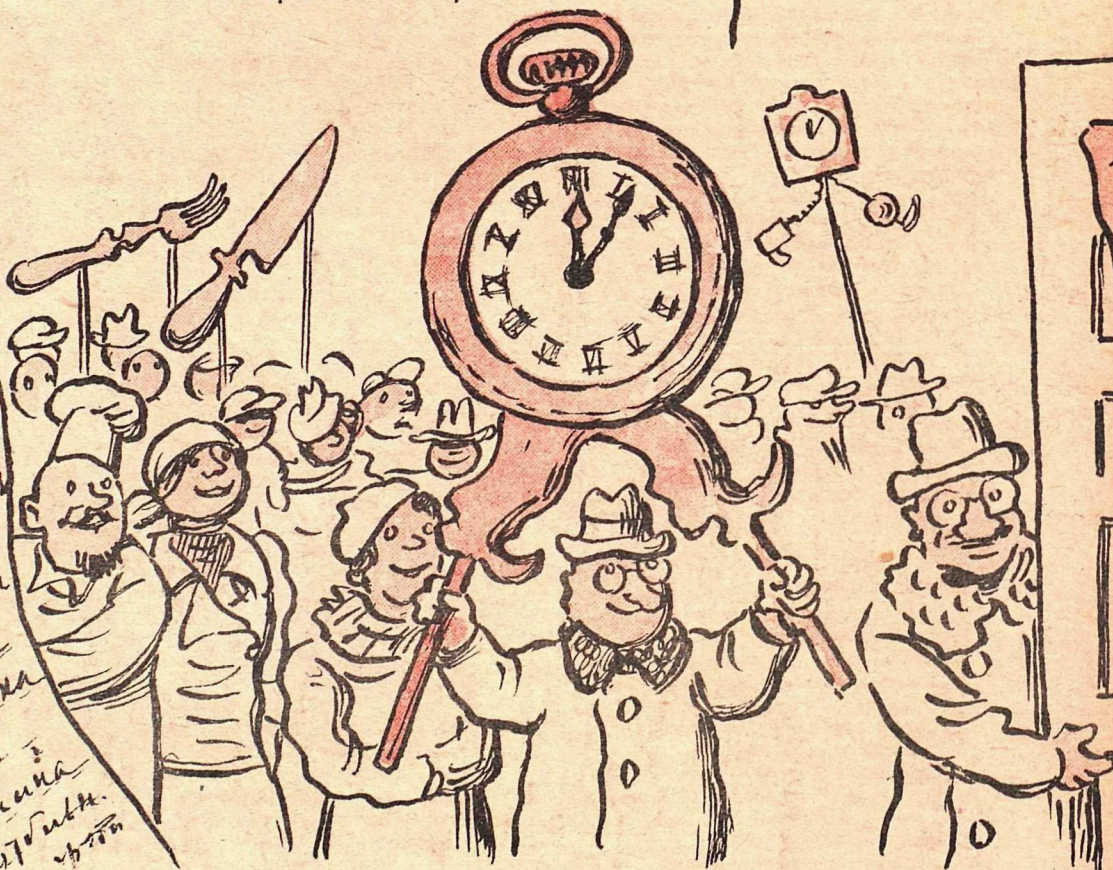
Колонна банно-прачечного треста.



Колонна автобусов.



Колонна треста ресторанов и кафе.



Колонна часового завода.

Колонна работников.

ые показатели

ния некоторых колонн)



ного треста.



Колонна редакции некоторого толстого журнала.



Колонна работников комбината бытового обслуживания.



ков некоторых госучреждений.



Колонна торговых работников.



Колонна работников химчистки.



КУКРЫНИКСЫ-39

— За что я люблю наших социалистов — это за большое политическое чутье.

Рассказ акушера

В МАЛЕНЬКОЙ гостиной подмосковного Дома отдыха в этот вечер было особенно уютно оттого, что горело не электричество, а свечи в старинных бронзовых канделябрах: с динамомашинной на станции что-то случилось.

Свечи трещали, роняя на ковер тяжелые капли стеарина. За окном мокрый ветер гнул в дугу черные, голые березки. В маленькой гостиной говорили о необычайном.

О роковых встречах, об удивительных происшествиях, о странной игре жизни — обо всем том, про что принято говорить: «Напишешь — не поверят!»

Андрей Николаевич — врач-гинеколог, представительный старик, похожий на актера, до сих пор не принимал участия в разговоре. Воспользовавшись наступившим молчанием, он произнес:

— Если хотите, я расскажу один случай из своей практики. Только, пожалуй, ничего необычайного в нем нет... Впрочем, судите сами.

В 1917 году я жил в Петрограде. Занимался врачебной практикой и представлял собой законченный тип обывателя-интеллигента, т. е. судил обо всем «не слыше сапога» и, читая по утрам «дневник происшествий» в «Петроградской газете», обильный фантастическими грабежами и чудовищными убийствами, вздыхал о порядке и твердой власти. Я не представлял себе, кто может навести порядок в го-

роде, беременном второй революцией. Но одно мне было ясно: присяжный поверенный Керенский этого сделать не может.

В ту ночь, когда пал Зимний, я в качестве члена домовой охраны жильцов дежурил у ворот дома, в котором жил.

Вид у меня был страшно воинственный. Свою буржуйскую шубу с бобровым воротником я перетянул кожаным поясом с гимназической бляхой: взял напрокат у сына. А на плече у меня болталась старая, нестреляющая берданка. Я шагал по панели вперед и назад, стучал зубами от сырости и тайного страха, алчно мечтал о теплой постели, о стакане подогретого красного вина.

В три часа ночи я услышал за углом топотливые шаги, снял с плеча свою грозную, но абсолютно бесполезную пицаль и приготовился ко всяким неожиданностям.

Из-за угла вышел человек в теплом пиджаке из серого солдатского сукна, в заячьей шапке, с черной — пугачевской! — бородой. На ремне за плечами у него висела винтовка, и она-то по всем признакам была в полной исправности!..

Когда человек подошел ко мне ближе, я увидел в свете фонаря, что вся грудь его серого пиджака залита кровью.

— Гражданин, — сказал он хрипло, — что доктора в этом доме нету?

— Вы ранены? — спросил я.

— Нет, — ответил он, поймав мой взгляд, прикованный к страшному пятну на его груди, — это товарища рядом ранило. Зимний — наш, временным — крышка. Ленин объявил советскую власть!

— Ваш товарищ нуждается в перевязке?

— Нет, его уже перевязали. Я его сам на перевязочный стащил, вот и замарался.

— Зачем же вам врач?

Чернобородый сконфуженно улыбнулся.

— Да вот какое дело... Сейчас прибежали ко мне из дому: баба моя рожает. Мучается, кричит. Тут недалеко. Вот приспичило ее не вовремя!..

Во мне заговорили профессиональные чувства.

— Я врач-акушер, — сказал я. — И мог бы вам помочь, но видите, я на посту, а до смены еще два часа.

— А кто вас сменять будет? — спросил чернобородый, переходя на вы.

— Один наш жилец, Залевский.

— Какой Залевский?

— У него фабрика мебели на Забалканском. Может, знаете?

— Как же мне не знать, — сказал мой собеседник, усмехнувшись, — когда я на ней работаю. Вот что, товарищ доктор, идемте-ка вместе к Залевскому. Пусть буржуй подымется маленько раньше!

Мы поднялись на третий этаж, и я позвонил в квартиру Залевского. Молчание. Позвонил еще раз. Молчание. Тогда мой спутник деловито снял винтовку и бацнул прикладом в дверь. Через две минуты мы услышали трещащий от ужаса голос самого Залевского:

— Боже мой, кто там?

— Это я, Ромуальд Сигизмундович, — отозвался я, — доктор Рогов. Откройте, пожалуйста!

Ромуальд Сигизмундович стал громко ругаться. Он желал нам сообщить, что имеет право спокойно спать еще целых два часа. Но излагал свои мысли попревоженный фабрикант в выражениях крайне резких.

— Откройте, — повторил я. — Я вам все объясню.

Чертыхаясь, Ромуальд Сигизмундович стал возиться с замками и засовами, а когда, наконец, отворил дверь и увидел моего Пугачева в куртке, залитой кровью, и с винтовкой в руках, — вдруг слабо икнул, побледнел и сел прямо на пол в передней. Он, видимо, решил, что мы пришли его грабить.

Я с трудом удержался от смеха при виде почтенного фабриканта, сидящего на холодном полу в кальсонах небесного цвета и сморщившего на нас, как петух смотрит на куртку, которая явилась в пичник оттяпать собственную его, петуха, бабку.

Ромуальд Сигизмундович бормотал:

— Берите, все берите! Только оставьте жизнь!

Когда я объяснил положение, фабрикант припел в себя и вдруг, не вставая с пола, начал визжать:

— К чорту! — вопил он, — никуда не пойду! Я буду жаловаться в домовый комитет! Какое мне дело до какой-то бабы! Пусть рождает вовремя!

— Помолчи, хозяин, — мрачно произнес мой спутник, — бери бердан и становись на пост, как приказано.

— Мне никто не может приказывать! — визжал Залевский.

— А когда так — одевайся! — рассердился вдруг мой спутник. — Со мной пойдешь!

Залевский снова перепугался. Он поднялся с пола и обреченно пошел к себе одеваться. Потом я торжественно передал фабриканту берданку, сходил к себе за чемоданом с инструментами, и мы все втроем вышли на улицу. Ромуальд Сигизмундович встал на пост, а я отправился помогать природе.

Через полчаса я уже хлопотал у постели протяжно стонавшей женщины в темном подвале, где жил Сибирцев, — так звали моего мебельщика. Он же согревал чайники с водой и помогал мне.

Через четыре часа все совершилось. Народонаселение мира — нового мира! — увеличилось на одного человека. Это был здоровенный мальчишка. Орал он, пожалуй, даже громче Залевского.

...Через двадцать лет — в 1937 году, — перед самыми Октябрьскими праздниками, я, уже московский житель, приехал в Ленинград навестить старого друга профессора Саженцева, тоже гинеколога.

Меня прелестно приняли у Саженцевых. 6 ноября Николай Иванович Саженцев решил устроить ужин и позвал кое-кого из знакомых.

Вечером я ездил по городу: знаете, когда приезжаешь в город, в котором когда-то жил, — хлопот и дела не оберешься... Ну, а потом я заехал за Саженцевым в родильный дом, где он консультировал. Захожу в приемную и вижу обычную картину: привезли роженицу. Молодая, по всем данным, — первородящая. Как водится, бледная, губы закушены, шляпка набоку, нос мокрый, на лице такое выражение, будто это только с нею одной могло случиться — то, что случилось.

Увели ее.

Дежурная сестра спрашивает супруга — такой парнишечка в кепочке:

— Как ваша фамилия?

Парнишечка отвечает:

— Сибирцев.

Знакомая, думаю, фамилия. И вдруг сразу все вспомнил. Подхожу к нему.

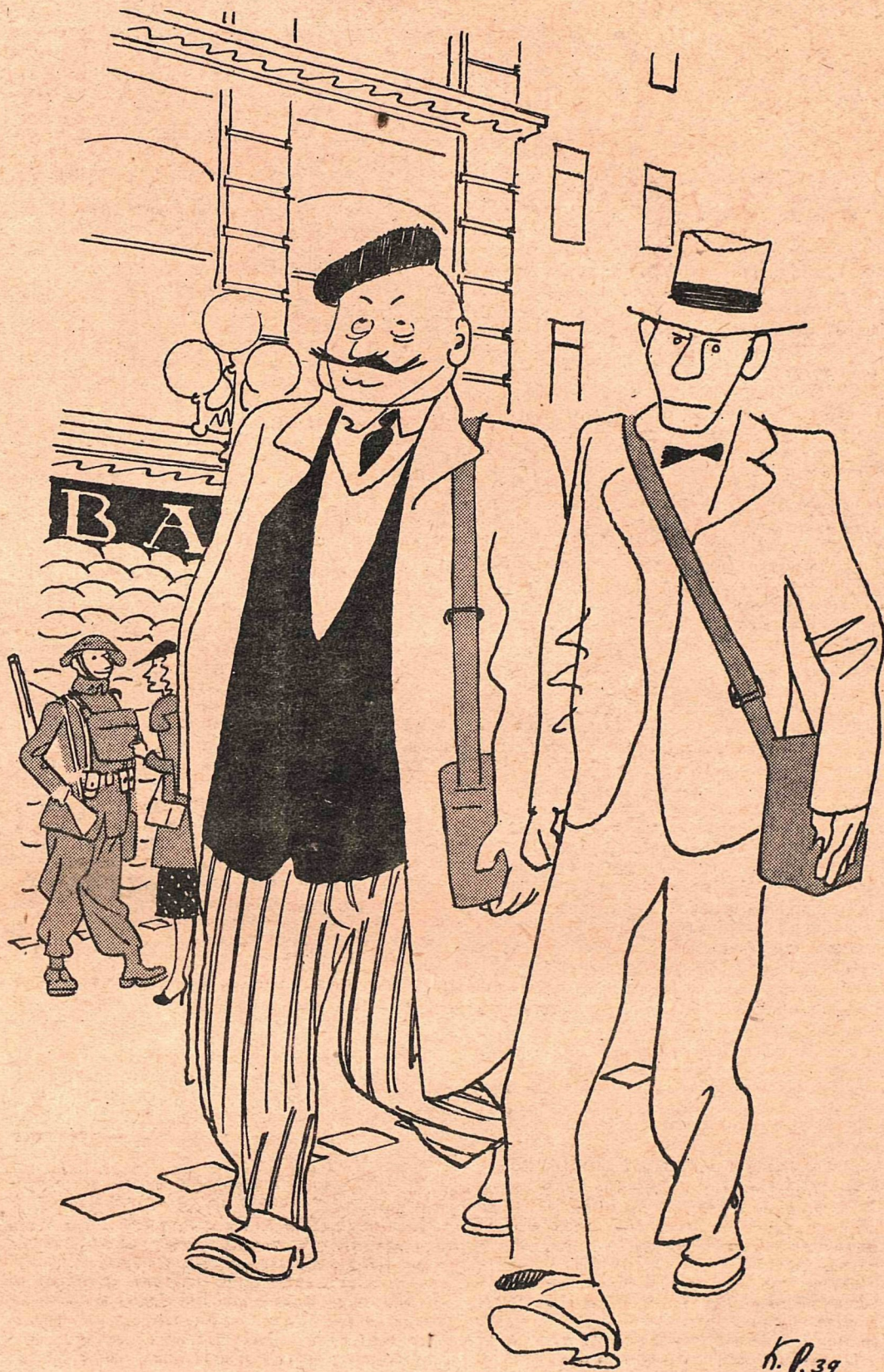
— Вы давно живете в Ленинграде?

— С рождения.

— Ваш отец — рабочий-мебельщик?

— Да. Откуда вы меняете?

— Как же мне вас не знать, — отвечаю я, — когда я был вашей, так сказать, повивальной бабкой.



— Ты не боишься, Жан, хранить свои сбережения в том же банке, где служишь?

— Нет. Ведь я нашел за отоплением чудесное потайное местечко.

И объяснил молодому человеку историю моего с ним знакомства.

— Это, что же, — говорю, — у вас семейная традиция такая: рожать под самую Октябрьскую революцию?..

Смеется.

И вот — чорт его знает, почему! — мне захотелось принять ребенка у жены этого парнишечки. Назовите это нелепым романтизмом, но свойственным моему возрасту, смешной прихотью старого чудака — как угодно.

Я поднялся к Саженцеву и объяснил ему, как умел, свое странное желание. Саженцев говорит:

— Ты сошел с ума! Нас же дома ждут!

Но вы знаете мое упрямство. Короче говоря, мы с Саженцевым вернулись домой утром, потому что случай оказался сложным. На этот раз была девочка.

Мы проявили дьявольскую изворотливость, когда в два рта ввали Елене Петровне Саженцевой, объясняя наше несколько запоздалое прибытие на ужин. Все равно она осталась недовольной. Жены этого ужасно не любят.

— Вот, собственно, и все, — закончил Андрей Николаевич и встал, чтобы закурить папиросу от свечи.

ЛЕОНИД ЛЕНЧ.



СПЕКТАКЛЬ

ВОЛОДЯ Зякин работает в одном из московских трестов в качестве экономиста. Во всех анкетах по разделу «Общественная работа?» он пишет: «староста драмкружка». Это очень сложная и трудоемкая нагрузка. Нельзя при этом сказать, чтобы Володя Зякин был совсем бескорыстен на данном поприще. Володя потому именно и сделался старостой драмкружка, что ощущает в себе явные способности к пленительному искусству Мельпомены.

Но если кружок распадется, именно ему, Володе, не удастся блеснуть своим дарованием перед очарованными сослуживцами в вечер, посвященный октябрьской годовщине. Прочие сотрудники треста и члены семей сотрудников отлично учитывают огромную володину заинтересованность в создании спектакля: они капризничают немилосердно:

— Нет, я не буду, я не буду играть!... — то и дело слышишь на репетициях драмкружка. — Мне и роль не нравится, и потом я сейчас так занят (занята), что мне просто не до вашего драмкружка. Нет, я не буду играть!

Володя дрожащим голосом убеждает, уговаривает, улецивает неверного своего товарища:

— Ну, пожалуйста... Ну, мы вас очень просим! Вы знаете, даже Вероника Сергеевна сказала, что она просто никого не видит в этой роли, кроме вас.

(Вероника Сергеевна — это руководительница кружка и режиссер данного спектакля. Вероника Сергеевна — настоящая артистка настоящего театра, и потому к ее словам прислушиваются даже самые закоренелые себялюбцы в кружке).

— Да? — дрогнувшим от лести голосом переспрашивает дезертир. — Конечно, я мог бы (могла бы) сыграть хорошо, но вот как быть со временем? Эти бесконечные репетиции...

— Ну, хотите, я вам достану в транспортном отделе машину? На машине вас привезем, на машине отвезем...

Володя заботится не только о личном составе, но и о бутафории, о переписке ролей, о добывании пьес, о париках и гриме. Он проявляет наибольшую изобретательность в изыскании домашних сурогатов сценической обстановки.

Резкий перелом в володином поведении происходит в самый день спектакля, примерно за полтора часа до начала его. Еще идет торжественная часть. Самые шаткие исполнители давно явились и готовят себя к выступлению истоиво и обстоятельно. Режиссер Вероника Сергеевна, волнуясь больше всех, делает вид, что она вполне спокойна: разговаривает, почти не открывая рта и почти беззвучно.

И вот тут-то, загримированный крестьянином-единичником с жидкой бородашкой и огромным поднятым кверху носом, Володя Зякин подходит к Веронике Сергеевне. Он волочит за собой по полу бурый зипун с аккуратно вырезанными и оформленными прорезами.

— Нет, я не буду играть, — тихо говорит Володя Зякин и не торопясь подымает зипун с полу, — не буду я играть в таком безобразии...

— В каком безобразии? — судорожно глотнув слюну, спрашивает Вероника Сергеевна.

— Вот в этом. В зипуне. Мне говорили, что будет настоящий бедняцкий зипун на мой рост, а это — что такое?

Действительно, одеяние это раза в полтора шире и выше хрупкого володиного корпуса.

Вероника Сергеевна произносит очень тихо и очень медленно:

— Зипун — как зипун. В крайнем случае его можно подшить.

— Все равно будет видно, что это не по мне... Нет, я не буду...

Пятнадцать голосов уговаривают Володю не срывать спектакля. Он горько улыбается и отрицательно качает головой. Кончается эта сцена тем, что вошедший в комнату зампреда треста бодрым начальническим голосом говорит:

— Батюшки! Да здесь, оказывается, «артисты». И опять Зякин комика будет играть? Молодец! Да смотри, какой зипун себе подобрал. От одного зипуна смеху не оберешься! Это замечание в новом свете выставляет качество злополучного зипуна. Володя думает с полминуты и, наконец, дает знать о том, что он сменял пнев на милость, такой фразой:

— Я удивляюсь, товарищи: нам скоро начинать, а еще ни одного звонка не было...

Вдруг пение «Интернационала», доносящееся из-за занавеса, показывает, что заседание пришло к концу. Кружковцы подпевают гимну, где кого застало пение. Быстро и споро убирают с авансены стол президиума. Вот уехала за занавес выдвинутая к самой рампе кафедра докладчика. Вероника Сергеевна, побледнев, выходит за занавес, чтобы изложить творческие задачи, которые драмкружок поставил себе в данном спектакле. В течение пяти минут кружковцы с интересом прислушиваются к тому, как она говорит: «...мы не собираемся... нам хотелось бы... мы не считаем... и если нам удалось...» Не слишком шумные аплодисменты провожают Веронику Сергеевну. Она уходит и становится за первой кулисой справа.

Занавес раскрывается с треском и рывками. На сцене внутренность просторной избы. Единственная специально для этого спектакля написанная декорация — русская печь. Все остальное подобрано из имущества треста, участников спектакля, их родных и друзей.

Спектакль начинается. Как водится, первые реплики оробевшие исполнители произносят необыкновенно тихо. Из зрительного зала доносится:

— Не слышно! Громче!

Повинуясь желанию публики, «артисты» повторяют все сказанное, добавляя ради естественности вводные слова:

— Что это, говорю, у вас, говорю, бабушка Марфа, никого дома нет?

— А я уж тебе ответила, сынок, что нонче все в город уехали и скоро приедут...

Несмотря на то что в зале сидят служащие, драмкружок представляет пьесу из колхозного быта. Это не слишком талантливая одноактная пьеса, написанная в порядке агитации за упорядочение колхозной отчетности. Никого из зрителей не могут взволновать мысли и чувства героев данной пьесы. Но дело в том, что кружковцы рассматривают свое выступление как своеобразную форму маскарада. И им было бы очень скучно играть в городском платье. А тут все-таки как-то пришлось переодеться, нацепить бороды и «пейзанские» парики, повязаться кокетливыми ситцевыми платками.

Впрочем, зрители также рассматривают спектакль как повод для переодевания, и потому из зала то и дело доносятся реплики в полный голос:

— Батюшки! Это кто же такое с наклеенными ушами?.. Никак Пантрянин?..

— Он, он! Пантрянин из транспортного отдела! Смотри, как загримировался, прямо не узнать!

— Позвольте, а кто же играет эту Настю? Что-то я не признаю...

— Это бухгалтера Фонского дочка — Любочка.

— Позвольте, неужели она так выросла? Сколько же ей теперь лет?

— Да, брат, молодое растет, старое старится...

— Чшш, дайте слушать, товарищи! Вот Володя Зякин вышел.

Зякина встречают аплодисментами, и он начинает свой монолог комика-колхозника. Известно, как пишутся такие монологи: нечто среднее между третьим мужиком из комедии Л. Толстого «Плоды просвещения» и делом Щукарем из «Поднятой целины» М. Шолохова. Зякин сморкается при помощи пальцев, икает, хромает, спотыкается о мебель, — словом, не стесняется в выборе средств, чтобы рассмешить публику. И это ему удается.

Вскоре же начинаются неизбежные неполадки. Во-первых, внезапно забыл роль шофер автотреста Тузиков, играющий в спектакле тракториста. Когда все остальные действующие лица обратились к нему, ожидая услышать нечто вроде краткого доклада о пользе механизации сельского хозяйства, Тузиков открыл рот, снова закрыл рот и потом повернулся к публике спиной.

Произошла пауза, во время которой сидевший в третьем ряду пожилой кассир треста — старик своенравный и крайне аккуратный — сказал укоризненно:

— Что ж ты, голубчик, морду-то воротил? Люди не виноваты. Это ты виноват! Учить надо было фоллю... Раньше надо было учить!

Одна беда, как водится, повлекла за собой другую: не доверяя уже больше исполнителям, суфлер (он же помзавхоза) совершил нижеследующее: когда один из колхозников, желая создать впечатление вящего правдоподобия, в конце своей реплики добавил лично от себя вопросительное междометие «а?», суфлер решил, что и этот забыл текст. Суфлер вынул из-за кулис и стал уже просто кричать продолжение реплики. Опять в зале засмеялись. А заподозренный в незнании роли колхозник откровенно махнул на суфлера рукой и сказал ему:

— Сам знаю: Куда ты лезешь?

Но самая большая неприятность случилась с главной декорацией — изображением русской печи. Ни с того ни с сего печь упала и чуть было не задела по затылку Володю Зякина. Не сговариваясь, исполнители сделали вид, что ничего не произошло, и делали его до тех пор, пока на сцене не появилось новое действующее лицо, которому по ходу сюжета надлежало погреть руки у печки. Сразу сообразив обстановку, это действующее лицо начало поднимать декорацию. Ему помогли другие «артисты», а из публики неслись советы:

— Слева, слева берите! Так ничего не выйдет.

— Да куда вы ее? Она не там стояла...

— Эй, девушки! Отойдите, а не то вас задевет.

Какой-то шутник из задних рядов кричал и так:

— Раз, два — разом!.. Раз, два — разом!..

Больше никаких неприятностей не было. Спектакль прошел с большим успехом. Вызывали и исполнителей и режиссера Веронику Сергеевну.

На ужин и танцы участники спектакля вышли розовые от плохо смытого грима, с блестящими глазами. Володя Зякин принимал поздравления сослуживцев по поводу своего дарования и был совершенно счастлив. Исполнительницы ролей колхозных девушек и ужинали и танцевали в деревенских костюмах и париках. Все находили, что это к ним очень шло.

В. АРДОВ



ПОЛЬСКИЕ ПАНЫ
РАЗБИТЫ
в 1920 г.

ПОЛЬСКИЕ ПАНЫ
ОКОНЧАТЕЛЬНО
РАЗГРОМЛЕНЫ
в 1939 г.

5739

Кого мы били.

НОВОЕ В ОБРАБОТКЕ ЗЕМЛИ (В Западной Белоруссии)

Рис. Б. Клинка



Сначала уборка, а потом уже сев.

Гастроли в Сормове

В **Н**ЫНЕШНЕМ мае на гастроли в город Горький приезжал МХАТ.

Среди мастеров прославленного театра был и потомственный сормовчанин — народный артист Союза ССР Николай Павлович Хмелев.

Многие рабочие «Красного Сормова» играли вместе с народным артистом в бабки, запускали с ним змей, а случалось, и воровали яблоки. В те времена Николая Павловича величали в Сормове просто Колькой.

Сормовчане обрадовались приезду знаменитого земляка и пригласили его побывать у них в поселке. Уговаривать артиста не пришлось: он и сам торопился посетить родные пенаты.

Накануне приезда Хмелева в дирекции завода состоялось чрезвычайное совещание. На повестке дня стоял всего лишь один вопрос: как лучше встретить своего земляка — выдающегося мастера сцены? Когда дошли до угощения, взволнованный повар Дворца культуры взял слово:

— На первое я вижу суп с фрикадельками...

— Не видел он твоих фрикаделек! — иронически ухмыльнулся председатель.

— Второе мыслится как жареная телятина, — невозмутимо продолжал повар.

— Ты еще сосиски предложи! — сказал председатель. — Кулинар!

После коротких дебатов совещание отверг-

ло и фрикадельки и телятину. Также были преданы осмеянию утка по-руански, паровая говядина, соус «пикан», блеманже и куропатки. Кулинара заставили принести поваренную книгу.

— Суп «лягранж», — читал повар и тут же комментировал: — Богатейшее по своим возможностям блюдо. Консоме «виндзор» — тонкая штука! Соус «Роберт» — интереснейшая подливка!

— Откровенно говоря, эти блюда не внушают мне доверия, — заметил председатель. — Чего-то здесь не дотянули.

Дебаты вспыхнули с новой силой.

— Что ж тогда? — растерянно бормотал повар. — Фрикассе?.. Цыплята в кляре?.. Мазегран?..

— Я считаю, — сказал очередной оратор, — что пища для Николая Павлыча должна быть привычной. Предлагаю определить меню по ролям.

— То есть как это — «по ролям»?

— Очень просто! Что ему в спектаклях по ходу действия кушать приходится, то и подадим.

— Идея! — оживился председатель. — Вот, скажем, он царя Федора играет, что ему тогда подают?

— Как что? Древнерусская кухня: студень, сбитень, щи, поросенок с кашей.

— Так, так... Занесите в протокол поро-

сенка... Кашу записали?.. А в других спектаклях — что?

— В «Днях Турбинных» он Алексея играет. В первом акте ветчиной закусывает.

— Ветчина — не угощение... А Каренин, интересно, что едал, чем закусывал?

— Каренин на диете сидел. Катarr желудка. Манная каша, бульон, соки...

— Не товар. А следовательно во «Врагах»?

— Тоже неизвестно... Работа совещания зашла в тупик. Для консультации вызвали из планового отдела Василия Николаевича Горбунова, старого друга семьи Хмелевых, знавшего артиста еще с пеленок. Повар сообщил ему ориентировочные наметки:

— Мазегран, поросенок с кашей, фрикассе, ветчина, сбитень.

— Чепуха! — сказал Горбунов. — Это же не обед, а какая-то мистика. Приготовьте ему пирог с луком.

— Пи-рог? — удивились присутствующие.

— Ну да, пирог. С луком и с яйцами. С детства любил.

— Я снимаю с себя всякую ответственность! — обидчиво заявил повар. — При моей квалификации — и вдруг пирог с луком.

Повара кое-как уломали. Впрочем, и другие участники совещания сомневались, будет ли иметь успех предложенное Горбуновым блюдо.

На другой день в Сормово приехал Н. П. Хмелев. Он осмотрел родной поселок, встретился с приятелями, побывал на заводе. Во время обеденного перерыва артист вместе с Аллой Константиновной Тарасовой исполнил отрывки из «Анны Карениной» и «Врагов» в конструкторском бюро и в том самом цехе, где когда-то работал мастером его отец.

А немного позже Николай Павлович сидел во Дворце культуры за празднично сервированным столом. Посредине возвышался непостижимой пышности, румяности и аппетитности пирог с луком.

— О, наш сормовский пирог! — улыбнулся Хмелев, отрезая себе ломоть. — Вот за это спасибо! Уважили!

И участникам недавнего совещания сразу стало как-то не по себе: ведь умудрились же два часа выдумывать нивесть какие хитрые кушанья для этого человека.

За вкусным, пахучим пирогом завязалась дружеская беседа между знатными сормовчанами и знатными мхатовцами.

— Приезжайте к нам всем театром! — просили хозяева. — Дали бы отдельный спектакль для «Красного Сормова». А Николай Павлыч в главной роли...

— С удовольствием, да твердый гастрольный план не пускает! — разводили руками гости. — Потом сцена у вас непригодная.

— Сцена — пустышка, сцену переделаем! — не унимались сормовчане. — Ну, так как? Будем еще пироги печь или не будем?

В конце концов, порешили, что пироги печь придется. Театр обещал приехать осенью только в Сормово и показать спектакль с Хмелевым. В свою очередь завод «Красное Сормово» обязался выполнить два условия, поставленные ему театром.

С тех пор прошло четыре месяца. В конце сентября в завком вошел незнакомый человек.

— Из Москвы. Представитель МХАТ, — отрекомендовался он. — Мы не забыли своего обещания и готовы к вам приехать. А как с нашими условиями?

— Первое выполняется: сцену начали переделывать.

— А второе? Как со вторым?

— Видите ли... Дело в том... Со вторым пока не все ладно.

— Печально! — посочувствовал работник театра. — Но уговор ведь дороже денег. Выполните второе условие — тогда и приедем.

А второе из условий, на которых соглашался приехать МХАТ, было следующее: завод обязан был выполнить производственную программу.

Договор между заводом «Красное Сормово» и Московским Художественным театром остается в силе. Наше октябрьское пожелание сормовчанам: поскорее выполнить программу, увидеть чудесный мхатовский спектакль и снова угостить своего земляка пирогом с луком.

Е. и С. ШАТРОВЫ

Сормово.

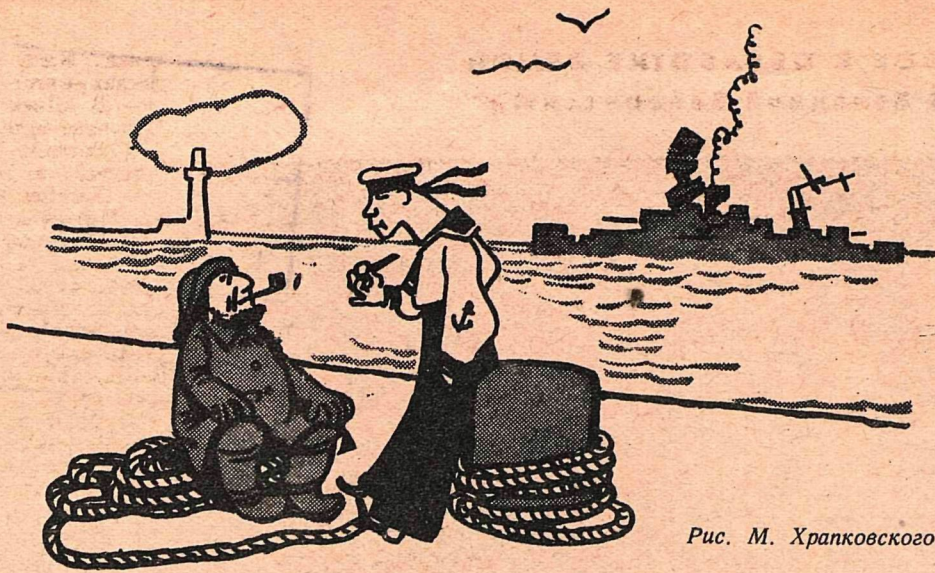


Рис. М. Храповского

— Алло, старина Билль! Где это так разделали
твое судно?
— Тысяча чертей! В трехсотмильной зоне безопасно.

Смешное и несмешное

НЕТ более веселого занятия, как в свободный, праздничный день перечитать кое-какие документы прошлого и мемуары. Оказывается, самые серьезные явления, повернутые, как говорят художники, в ином ракурсе, могут вызывать смех — «сокращение определенных мимических мышц лица» («Малая советская энциклопедия». Т. 8).

Вот, например, вдохновитель и антрепренер похода 14 держав против Советской России в 19-м году — в то время английский военный министр — Уинстон Черчилль выпустил книгу своих воспоминаний. По мнению Черчилля, в 1919 году «достаточно было 20—30 тысяч смелых, толковых, хорошо вооруженных европейцев, чтобы без особых затруднений или потерь» взять Москву и добить большевиков.

Едва ли Черчилль собирался кого-либо смешить при помощи такого высказывания. А между тем сейчас невозможно без улыбки читать эти строки. Что же? Во всем капиталистическом мире так и не нашлось 20—30 тысяч смелых, толковых европейцев? Нашлось, конечно. Мы знаем, нашлось и побольше 30 тысяч. И тем не менее эффективный атракцион — взятие Москвы и «добитие большевиков» — по некоторым, не зависящим от инициаторов причинам пришлось отменить.

Кстати, «толковые европейцы», явившиеся в количестве не 30, а 500 тысяч, распространяли на нашей земле листовки такого типа:

«Вот мы, англичане, французы, американцы, итальянцы, японцы, пришли сюда на помощь... Предупреждаем Вас, красноармейцы, пощады Вам не будет, если Вы будете против нас драться, всех Вас истребим, как истребили большевиков в Сибири.

Даем Вам 2 недели сроку, а там сами на себя пеняйте».

И опять этот документ вызывает смех, когда вспомнишь, что союзникам пришлось дать красноармейцам не двухнедельный срок, а... скажем деликатно: несколько дольше задержалась на территории бывшей царской России Красная Армия! И — знаете? — она вообще не собирается уходить с этой территории: она у себя дома, чего нельзя было сказать о «толковых европейцах» в России 19-го года.

О том, как вели себя на чужой земле «смелые и толковые европейцы», советский народ помнит хорошо. Можно ли забыть официальный приказ одного из славных представителей доблестной румынской армии, оккупировавшей Бессарабию:

«Приказ коменданта м. Единцы.

Румынские офицеры должны быть приветствуемы населением м. Единцы следующим образом:

Каждый приветствующий должен остановиться на месте, лицом к начальству и быстро, геройски, с улыбкой на лице, снять шапку до самой земли.

Для обучения населения этому и точного приведения в исполнение приказа в час дня моя фуражка коменданта будет прогуливаема на палке по улице, и все обязаны будут ее приветствовать.

Комендант гарнизона м. Единцы
капитан Димитриу.
Начальник полиции поручик
Елифтереско»

А может быть, капитан Димитриу распорядился так потому, что сам понимал: его фуражка — куда более ценный предмет нежели его же голова.

В 1931 году в Советский Союз прибыл корреспондент польской газеты «Наш пшеглонд» пан Зингер. Пан журналист сам похвалялся, что за каждую неделю пребывания в СССР он получает жалование в двойном размере. Так сказать, на вредность: вредность пребывания в социалистической стране для буржуазного журналиста. Зингер и его собратья по перу из всех сил выбивались, чтобы оправдать эти дополнительные расходы. «Газета польска» летом 1932 года утверждала:

«Положение показывает как будто, что правительство советов зашло со своей политикой коллективизации в тупик».

Ой ли? Советское ли правительство зашло в тупик или польское? В 32-м или в 39-м? Политика коллективизации рухнула или политика «осадников» и «майентков»?

Однако не одна только польская пресса поставляла пищу юмористам. Даже такая солидная английская газета, как «Финаншиэл таймс», в ноябре 1932 года писала:

«Сталин и его партия в результате своей политики оказываются перед лицом краха системы пятилетнего плана и провала всех задач, которые он должен был осуществить».

Все они знают, эти «просвещенные мореплаватели!» Все понимают!.. Кстати, сейчас мы рекомендовали бы почтенному финансовому органу написать так:

«Сталин и его партия в результате краха двух первых пятилеток и предстоящего краха третьей пятилетки создали социалистическую промышленность, которая во многих областях уже вышла на первое место в мире, и современную Красную Армию, насыщенную техникой в такой мере, что любая другая армия сегодня отстает от нее».

Мы читаем эти документы прошлого, и они вызывают естественную реакцию, описанную

в «Малой советской энциклопедии», как «сложный произвольный акт, состоящий из ряда коротких сильных выдыхательных движений при открытом рте», что в переводе на ненаучный язык означает смех.

Но попробуйте перелистайте сатирические журналы за те же годы. Оказывается, совсем несмешно.

Вот, например, юмористический журнал «Новый сатирикон» за 1917 и 1918 годы. Сколько злобы, звериной и бессильной злобы к новому строю, к новым людям!..

«Новый сатирикон» в феврале 1918 года пророчил:

«...и станет вся жизнь — ряд прекрасных идиллий...»

Взглянем направо — рабочие, дружно обнявшись, делят барыш, славословя свой труд каждодневно.

Взглянем налево — художники мажут заборы (Гению будет дана и работа полегче!).

Будут певцы обучать идиотов мычать гармонично...

...Не пожелает никто жены ближнего, ибо и жен ты

На коммунальных началах найдешь в потребительских лавках...»

Очень похоже, не правда ли?

В № 6 за 1918 год «Новый сатирикон» хихикает по поводу того, что «в настоящее время по всем отраслям знаний печатается в России книг не более чем в XVI столетии». В № 12 «Новый сатирикон» не без злорадства сообщает, как солдаты знакомились с картинной галереей заводчика и помещика Терещенко и приговаривали: «Картина Поленова — бей ее поленом».

У старика Даля сказано: «Смех... гласное проявление в человеке чувства веселости». Хорошо сказано! Обреченные люди не могут гласно проявлять это чувство. Оно у них атрофировано. Им несмешно.

История вместе с советским народом смеется над этими людьми и людishками. Хорошо смеется тот, кто смеется последний. Мы завоевали в тяжелой и неравной борьбе право смеяться последними.

Посмотрите на веселые лица демонстрантов. Так может смеяться и веселиться свободный народ — хозяин своей жизни, уверенный в своем завтрашнем дне!

Вечером за праздничным столом мы вместе с вами, дорогой читатель, подыдем тост:

«Да здравствует смех, веселый, жизнерадостный смех народа-творца, народа-победителя!»

Е. ВЕСЕНИН.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Адрес ред.: Москва, 49, Ленинградское шоссе, ул. „Правды“, 24; тел. Д 3-32-50; Д 3-33-47. Прием ежедн. с 1 до 6 часов. Подписная цена на журнал 1 р. 30 к. в месяц.

Изд-во ЦК ВКП(б) „Правда“

Москва. Изд. № 2124

Сдача текста и рисунков 25 X 1939 г.

Подписано к печати 2/XI 1939 г.

Статформат 72 X 105 см.

Печ. л. 2. Кол. зн. в 1 печ. л. 78 000

Уполномоченный Главлита № А—18043. Типография газ. „Правда“ имени Сталина, Москва, ул. „Правды“, 24. Заказ № 3459. Тираж 275 000 экз.

43

ОБЯЗАТ. ЭКЗЕМПЛЯРЫ

10 НОЯ 1939

Всеобщ. К. Малатой Получены

Период	13/21	ур.	лет
Получ. в ред.	13/21		
Гдан в архив	13/21	1939	



— Как увидишь, Лидочка, киоск со сладостями, сразу начинай плакать. Я поддержу.